



XXXI. АСТРАХАНЬ

Прошло три месяца. В конце августа 1883 года в Виллюйск прибыли жандармские унтер-офицеры Шигорин и Машков с предписанием доставить Чернышевского в Иркутск. Сибирские администраторы не сочли нужным сразу же объявить Чернышевскому о том, что ему назначается новое место поселения. Сенатский указ об этом остался неизвестен Николаю Гавриловичу до самого прибытия в Иркутск.

Однако, понимая, что в судьбе его наметился какой-то поворот, Чернышевский стал тотчас же торопить жандармов с отъездом. Он выражал желание немедленно отправиться в путь. Но надо было подготовиться к длительному и очень трудному путешествию; кроме того, жандармы хотели отдохнуть с дороги. Поэтому отъезд был отложен на сутки.

Выехали на рассвете, хотя отъезд был назначен на двенадцать часов дня, и когда некоторые виллюйчане пришли в полдень к острогу, то Чернышевского они там уже не застали.

Жена жандармского унтер-офицера Щепина, состоявшего стражником Чернышевского, позднее рассказывала: «Дело было в августе месяце. Дороги про-

езжей из Виллойска нет, только верховая. Кругом страшнейшие болота, мостов тоже не было, речки необходимо было переплывать вплавь на лошади... Дорога — только узкая тропа среди тайги; верхом едешь, ветки бьют в лицо. Ехать верхом он отказался... Хотели сделать на быках качалку, как носилки, к стременам подвязать. Он отказался. И его повезли на санях по земле. Якуты шли впереди саней и расчищали дорогу, где была тайга...»

На одном из перегонов пришлось лошадей заменить собаками. Затем продолжали путь в «крытой лодке, по-местному «шитике»; ее тянули бечевой «почтари» — приленские крестьяне, на обязанности которых лежало «гонять почту» и возить проезжающих.

В Якутске Чернышевского доставили к губернаторскому дому. Губернатор Черняев, причинявший прежде своему пленнику всевозможные неприятности, удивил его теперь гостеприимством и внимательностью. К приезду Чернышевского был приготовлен завтрак. Но подлинный смысл губернаторского радушия раскрылся Чернышевскому при отъезде из Якутска, когда он убедился, что перед отправлением в дальнейший путь ему не позволяют задержаться в городе для отдыха и закупок. Губернатор был озабочен только тем, чтобы сохранить, по возможности, в тайне от всех прибытие и отъезд важного «государственного преступника».

Тогда, усаживаясь в повозку, Чернышевский иронически заметил: «Надо бы хоть к губернатору-то вернуться. Рубль, что ли, ему за завтрак отдать...»

Везли Чернышевского под именем «секретного преступника № 5». Короленко в своих воспоминаниях рассказывает о курьезном эпизоде, связанном с этим «секретом полишинеля», каким окружали тогда отъезд

Чернышевского из Сибири, о чем в то время известно было всей России из газет. «За несколько часов до выезда Чернышевского по Лене из Якутска отправилась почта. Почтальон, как и все в городе, конечно, знал, что Чернышевский поедет вслед за ним, и, желая поусердствовать, предупреждал всех зрителей. Таким образом, подъезжая к станции в лодке, небольшой отряд с важным пересыльным заставал уже на берегу готовыми новую лодку, лошадей для ляжки и ямщиков в парадных (по возможности) костюмах. Это, наконец, обратило на себя внимание жандарма Машкова, расторопного служакн, с которым и мне пришлось познакомиться впоследствии, именшего несколько преувеличенное понятие о своей миссии.

— Что за чорт! — удивился он. — Откуда вы знаете, что мы будем?»

— От почтальона такого-то. Проехал с почтой и говорит: готовьтесь, Чернышевского везут.

— А, вот что! Он не обязан даже и знать-то, кого мы везем».

Только по прибытии в Иркутск Чернышевский узнал о том, что его переводят в Астрахань.

Произошло это при следующих обстоятельствах:

«В Иркутске было заранее решено, — передавал впоследствии начальник местного жандармского управления Келер Л. Пантелееву, — что Чернышевский остановится в жандармском управлении на одни сутки, частью для отдыха, частью, чтобы снабдить его всем необходимым для дальнейшей дороги.

Рано утром, так около трех часов, Келеру дали знать, что прибыл Чернышевский. С опущенной головой, облокотясь на стол, Николай Гаврилович сидел так, что оказался спиной к Келеру, когда тот вошел в канцелярию. Одет он был по-дорожному, в каком-то

сером пиджаке, в пимах, шуба лежала на полу. На вид ему казалось лет 60 (в действительности было 55); в густых, несколько отливающих рыжеватостью волосах едва замечалась седина. Видно было, что он очень устал...»

Когда Келер объявил Чернышевскому о том, что ему назначен для постоянного жительства один из городов Европейской России, радости Николая Гавриловича не было границ; он заплакал, говоря, что скоро увидит жену и детей. «Затем, — рассказывал Келер, — мы пошли наверх, в приготовленную Николаю Гавриловичу комнату, и так как он отказался от отдыха, то занялись чаем.

— А могу я узнать, какой город назначен мне? — спросил Чернышевский.

— Я собственно не имею права сказать, но на честное слово, что это останется между нами, сообщая вам — Астрахань...»

В ту же ночь Чернышевского отправили в тарантасе дальше. «Николай Гаврилович не ехал, а мчался, — добавляет Л. Пантелеев. — По осенней дороге он на пятые сутки был уже в Красноярске — 1 000 верст от Иркутска...»

Губернаторы тех городов, через которые лежал его путь к месту назначения, получали шифрованные телеграммы высших властей о принятии необходимых мер для предупреждения «нарушения общественного порядка».

22 октября, после двухмесячного изнурительного путешествия, Чернышевский был доставлен, наконец, в родной город Саратов, где ему была разрешена кратковременная остановка для свидания с родными.

Привезли его вечером, опасаясь, повидимому, каких-либо явных проявлений сочувствия саратовцев к их

знаменитому земляку, и поместили в квартире жан-дармского полковника.

Семье не был в точности известен день прибытия Чернышевского в Саратов. Ольга Сократовна с необычайным волнением ждала уведомления о свидании. Еще за две недели до выезда Николая Гавриловича из Вилюйска она писала ему в Сибирь: «Милый ты мой! Я до тех пор не буду спокойна, пока сама не увижу тебя собственными глазами. До скорого свидания (написала это слово, а самой все еще не верится, что так будет)... Милый ты мой! Хороший мой! Крепко, крепко целую и обнимаю тебя...»

Получив известие, что Николай Гаврилович уже выехал из Иркутска и находится на пути к Саратову, Ольга Сократовна писала его родным: «Я от радости совсем с ума сошла; и так не помнила, что делую и что надобно еще делать, а теперь — и подавно! Вот так бы и полетела к нему навстречу... Вот и расплакалась... Ничего не вижу».

Наконец долгожданный день настал. «Вчера вечером, — сообщала В. Н. Пыпина сестре в Петербург, — часов в шесть, явилась горничная, спросила Ольгу Сократовну и подала ей записку. Ольга Сократовна, прочитавши, торопливо и в страшном волнении начала одеваться, то-есть надевать шубу, калоши и пр., и на вопросы шепнула: «Приехал, молчите». Отправилась. Своим я объяснила, что за Ольгой Сократовной прислала какая-то знакомая и она, может быть, и ночует у нее. Часа через два та же горничная является с запиской ко мне, — если я желаю, могу приехать. Я тотчас поехала, также не сказавши своим, в чем дело, но после они говорили, что они тотчас решили, что Николай Гаврилович здесь. У него мы пробыли часа два...»

Под живым впечатлением этого необычного, короткого свидания с мужем в квартире жандармского полковника после многолетней разлуки Ольга Сократовна писала в Петербург Пыпину:

«Само собою разумеется, все побросал там и едет налегке, на перекладных (делая 230 и 240 верст в день). Скачет день и ночь. Казался не очень утомленным и уверял, что так и есть на самом деле.

Движения его довольно порывисты, несколько взволнован, но довольно весел... Никак не могла уговорить его остаться до 5 часов утра. Спешил, страшно спешил... «Покуда, говорит, сухо, да тепло, голубочка, нужно доехать...»

Я встретила его молодым: но что чувствовала тогда — того не перескажешь. А Варенька страшно рыдалась. Насилу уняла ее. А это на него могло действовать нехорошо. Я все время старалась быть веселой... Делаю так потому, что так нужно...»

В ту же ночь Чернышевский выехал на почтовых, уговорившись с Ольгой Сократовной, что на следующий день и она отправится в Астрахань на пароходе.

Утром 27 октября Николая Гавриловича привезли в казацкую станицу Форпост, расположенную на правом берегу Волги, напротив Астрахани. После переправы через реку на паровом баркасе он был доставлен в гостиницу, находившуюся на площади в центре города.

Астраханский полицмейстер уже составлял рапорт о том, что «Чернышевский прибыл в г. Астрахань в 10 часов утра 27 сего октября и полицейский надзор за ним поручен приставу и агенту Баканову; последнему вменено в обязанность периодически доставлять сведения о поднадзормом начальнику астраханского гу-

бернского жандармского управления. При приезде Чернышевского никаких встреч и демонстраций не было».

Здесь, в номере гостиницы, он остался, наконец, один, без «проводящих», — жандармы, выполнив все формальности, покинули его.

Отдохнув немного в номере, Николай Гаврилович вышел в город и направился к пристани. Он хотел встретить Ольгу Сократовну — она должна была приехать в тот же день.

Шумно и многолюдно было в этом городе, где основная масса разноплеменного населения занималась торговыми делами. Здесь жили русские, украинцы, армяне, греки, персы, татары, хивинцы...

Почти весь день провел он на пристани. Уже на двигался вечер и сгустилась темнота, когда прибыл пароход и он различил среди шагнувших по трапу пассажиров фигуру Ольги Сократовны...

Прошло несколько дней. За это время Ольга Сократовна подыскала небольшую квартиру из трех комнат на Почтовой улице. Скучно обставлено было их новое жилище: два стула, шаткий стол, диван, постели и больше ничего.

Едва успели они перебраться на квартиру, как из Петербурга приехали сыновья. В 1862 году Николай Гаврилович оставил их детьми, а теперь Александру было уже двадцать девять лет, а Михаилу — двадцать пять. И теперь отцу и сыновьям предстояло как бы заново узнавать друг друга. За то короткое время, что сыновья пробыли с ним в Астрахани, Николай Гаврилович не успел даже сблизиться с ними, не успел по-настоящему рассказать обо всем, что было пережито им за два десятилетия разлуки с семьей. Ему очень хотелось, чтобы и Александр и Михаил остались теперь в Астрахани, но план совместной жизни с ними ока-

зался, к огорчению Николая Гавриловича, неосуществимым.

И когда сыновья уехали снова в Петербург, Николай Гаврилович писал Пыпину: «Мое знакомство с моими детьми еще очень слабо. Они приехали сюда людьми совершенно «незнакомыми» мне. В неделю или восемь дней, которые провели они со мною, мог ли я хорошо узнать их способности? В особенности Миша, бывший все это время непрерывно занят житейскими хлопотами, едва имел досуг раза два, три в день поговорить со мною по нескольку минут. Приехал он незнакомый к незнакомому и уехал почти незнакомый от почти незнакомого».

Пережитые муки не сломили благородной гордости Чернышевского и большого чувства человеческого достоинства. Одной из главных его забот была теперь забота о погашении долгов близким людям, помогавшим во время его ссылки Ольге Сократовне и сыновьям. Не только близким, но и казне хотел он вернуть свой «долг». И хотя весьма скудны были его средства в первые месяцы жизни в Астрахани, он считал необходимым прежде всего обратиться к губернатору с просьбой сообщить ему, какую сумму составляют его, Чернышевского, «долги» казне, имея в виду выданную ему в Иркутске ссуду на путевые издержки и предоставление нового тарантаса от Иркутска до Оренбурга.

Николай Гаврилович вернулся из Сибири физически надломленным, больным, но вовсе не утратившим готовности работать. Он заговорил об этом в первых же письмах из Астрахани, адресованных Пыпину, который был одним из членов редакции журнала «Вестник Европы»:

«...Я еще сохранил способность по целым месяцам работать изо дня в день, с утра до ночи, не утом-

ляясь...». «В минуту приезда сюда, как и на каждой станции пути, я был совершенно готов по неустойчивости сесть за работу, работать, пока захочется есть, и, поев, продолжать работу до поздней ночи, если начало ее было утром, или до позднего времени дня, если начало ее было ночью...»

Изнурительным, говорил он, был не путь из Сибири в Астрахань. Изнурительно жить без работы.

Он надеялся, что с помощью Пыпина ему удастся начать печатать беллетристические произведения в «Вестнике Европы». Память Николая Гавриловича настолько полно сберегла множество написанных еще в вилюйской ссылке и там же уничтоженных повестей и романов, что теперь он мог бы диктовать их наизусть без запинки.

Сыну Александру, у которого была большая склонность к творчеству (он писал стихи, драматические этюды), Николай Гаврилович в виде опыта в течение двух часов без перерыва рассказал первую главу одной из таких повестей.

Еще в Сибири Николай Гаврилович строил широкие планы литературных работ. Большое место в этих планах занимали беллетристические произведения. Кроме того, он предполагал теперь осуществить издание большого сборника лучших повестей русских писателей и поэтическую антологию. Тут он выступил бы в роли редактора-составителя. Далее Чернышевский рассчитывал на новое, переработанное издание «Очерков политической экономии» Милля со своими обширными комментариями. Он готов был также писать научные статьи для журналов по вопросам философии, истории, экономики, естествознания, языковедения. И, наконец, он изъявлял готовность переводить книги немецких и английских ученых.

Но по ответным письмам Пыпина Чернышевский понял, что издатели журналов не станут печатать его оригинальные произведения без специального разрешения властей. А начать хлопоты об этом никто не решился. Случилось так, что переводы, занимавшие в планах Чернышевского последнее место, стали единственно реальной возможностью заработать кусок хлеба для семьи. Пыпин обещал Николаю Гавриловичу подыскать подходящие для перевода научные книги.

Что ж... На первое время он должен был удовлетвориться этой «грошовой» работой. И он садится за перевод присланной Пыпиным книги немецкого филолога Шрадера «Сравнительное языкознание», хотя отлично сознает, что она не имеет подлинной научной ценности. Чернышевский чуть ли не стыдился, что невольно будет содействовать изданию подобных книг, но выбора для него не было даже и в этой области литературной работы. Приходилось утешаться тем, что имя его не будет выставлено на книге.

Однако взявшись «по праву нищего» за этот подневольный труд, он не захотел остаться только переводчиком, пассивным исполнителем литературных заказов. Отсылая в Петербург анонимный перевод книги английского естествоиспытателя Карпентера, Чернышевский писал: «Последние две, три страницы подлинника, противоречащие моим понятиям, я отбросил и заменил несколькими страницами заметок, в которых изложен мой образ мыслей».

В этих заметках Чернышевский подверг резкой критике антинаучные идеалистические рассуждения автора о бессилии науки, об условности человеческого познания и т. п.

Рискуя не получить никакого вознаграждения за свою работу (а нужда в эту пору ежедневно напомина-

ла ему о себе), он требовал от издателя, чтобы тот не вносил никаких изменений в представленную им рукопись. «При малейшем противоречии издателя этому моему требованию рукопись перевода должна быть брошена в печь».

Выполнить ультиматум Чернышевского издатель не мог: цензура не пропустила бы послесловие переводчика, подчеркивавшее его приверженность материалистическому мировоззрению. Но идя все же на уступку Николаю Гавриловичу, издатель Пантелеев не стал настаивать на восстановлении отброшенных страниц в книге Карпентера.

Нужда остро давала чувствовать себя, особенно в первое время жизни Чернышевского в Астрахани. Вопрос о возможности печататься (хотя бы под псевдонимом) долго оставался неразрешенным, и это чрезвычайно тяготило Николая Гавриловича.

Но еще больше тяготил постоянный надзор полиции, неусыпная слежка за всеми его сношениями с внешним миром. «Мы с папашей здесь положительно заживо погребенные, — писала Ольга Сократовна сыновьям, — жить в таком уединении, ни с кем не видеться, ни с кем не поговорить...»

Отправляя ту или иную рукопись Пьпину в Петербург, Чернышевский принужден был ставить каждый раз в известность жандармское управление о характере своей посылки.

Еще до прибытия Чернышевского в Астрахань начальник губернского жандармского управления Головин разработал план надзора за ним.

«В виду особой важности, — писал Головин в секретном письме губернатору, — самой личности Чернышевского, его популярности среди злоумышленников, которыми неоднократно делались попытки к его

освобождению, а также возможности появления в г. Астрахани, по приезде Чернышевского, лиц, политически неблагонадежных, директор департамента (полиции) просит меня принять меры к установлению, по соглашению с вашим превосходительством, самого бдительного негласного наблюдения за всеми сношениями и вообще образом жизни Чернышевского».

Вскоре Николая Гавриловича сфотографировали в жандармском управлении и изготовили 24 карточки с его изображением «для снабжения таковыми полицейских чинов, как в Астрахани, так и в уездах».

Через полтора месяца после переезда Чернышевского в Астрахань, в один из декабрьских дней, квартиру его посетил корреспондент английской газеты «Дейли ньюс». Корреспондента интересовал главным образом «выигрышный» материал для газеты. Самым важным ему представлялось, что вот он *первый* поведает европейским читателям о личном свидании с знаменитым русским революционером, вернувшимся из сибирского заточения.

Беседуя с ним, Чернышевский, разумеется, держался в высшей степени осторожно, не забывая, что каждое лишнее слово может повредить ему.

Статья «Русский политический пленный», явившаяся результатом этого посещения, не могла, конечно, дать представления о подлинном облике великого революционера. Некоторый интерес в ней могли представлять лишь отдельные детали и характерные черточки, подмеченные корреспондентом.

Разговаривали они на русском языке. Правда, Чернышевский прекрасно знал английский, но знал его только книжно и не хотел говорить по-английски, так как не был уверен в правильности произношения.

Однако желая уточнить ту или иную мысль, он не-

редко в ходе разговора брал карандаш и бумагу и набрасывал несколько строк на правильном, со всеми особенностями, английском языке. (Так поступал он и во время своей поездки в Лондон к Герцену в 1859 году. Именно этим способом изъяснялся он, когда ему надо было разыскать ту или иную улицу, спросить прохожих о чем-нибудь, заказать кушанье в ресторане и тому подобное.)

Сначала корреспондента удивила молодость Чернышевского — ему никак нельзя было дать пятидесяти пяти лет: в густых волосах не замечалось седины, держался он прямо и бодро. Но всматриваясь пристальнее в синие глаза, блестящие умом, следя за порывистыми, быстрыми движениями собеседника, корреспондент понял, что десятилетия каторги и ссылки не могли пройти бесследно, не могли не подорвать здоровья Чернышевского. Не понял он, однако, того, что эта нервность объяснялась, конечно, еще и горьким сознанием невозможности гневно высказать всю правду о произволе царизма, о бесправном положении народа, наконец, даже о себе, о своей личной трагедии...

Весть о том, что Чернышевский переведен из Сибири в Астрахань, через некоторое время проникла в среду столичной учащейся молодежи. 12 января 1884 года, в традиционный университетский праздник («Татьянин день») — в годовщину основания Московского университета — группа студентов послала в Астрахань телеграмму Николаю Гавриловичу:

«Пьем за здоровье лучшего друга студентов.

Московские студенты»

Тщетно пыталась потом полиция установить, по чьей инициативе была отправлена эта телеграмма.

Неуютно жилось Чернышевским в чужом городе. Семья никак не могла соединиться; в ней назревала тяжелая драма из-за душевной болезни старшего сына — Александра. Здоровье Ольги Сократовны также было расшатано; она часто уезжала лечиться, и тогда Николай Гаврилович оставался один с книгами и нескончаемой работой.

Он и здесь, как и в Виллюйске, чувствовал себя одиноким. «Я житель того самого острова, на котором благодушествовал некогда Робинзон Крузо со своим другом Пятницей. Я не лишен нежных приятностей дружбы; но все здешние друзья мои — Пятницы... мы толкуем о том, хорош ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопромышленников цены на нее, сколько привезено хлопка и фруктов из Персии, уплатит ли по своим векселям Сурабеков или Усейнов...»

Радостными событиями в этой однообразной обстановке были редкие приезды родственников, друзей и знакомых Николая Гавриловича. В 1884 году его навестили Пыпин, Захарьин, старинный петербургский друг доктор Бокков. Однажды артист Писарев привез Чернышевскому его работу о Милле, изданную на французском языке. В Астрахани сблизился он с приезжавшим туда время от времени братом писателя В. Г. Короленко — Илларионом Галактионовичем. Через него заочно познакомился он и с самим писателем, встретиться с которым довелось ему позднее, уже в Саратове.

Мучимый неопределенностью вопроса о том, возможно ли будет ему печататься, Чернышевский попытался через полгода по приезде в Астрахань разрубить, наконец, этот узел: 29 марта 1884 года он послал А. Н. Пыпину, короткое письмо следующего содержания:

«Милый друг Сашенька, прошу тебя отправить в редакцию наиболее распространенных газет следующее извещение:

«Мы слышали, что Н. Г. Чернышевский приготовляет к изданию собрание своих сочинений»...

Сделай одолжение, не бери на себя судить о том, благоразумна ли моя просьба, а *исполни* ее; исполни, и только всего...»

Зная, что письма, отправляемые им, вскрываются и просматриваются в полиции, он хотел таким своеобразным способом проверить, как отнесутся власти к его попытке возобновить литературную деятельность.

Как только в департаменте полиции стало известно содержание этой записки Чернышевского, оттуда тотчас же последовало отношение в Главное управление печати с просьбою ни в коем случае не допускать опубликования в газетах упомянутого «извещения».

Только по прошествии года одному из друзей Николая Гавриловича, А. В. Захарьину, жившему в Петербурге, удалось выяснить в соответствующих инстанциях условия, на которых власти разрешали Чернышевскому литературную деятельность. Предварительная цензура и псевдоним — вот те изъятия из общего правила, с помощью которых намеревалось царское правительство обезвредить влияние «опасного» писателя.

В 1885 году, благодаря посредничеству Захарьина, книгоиздатель Солдатенков поручил Чернышевскому перевод многотомной «Всеобщей истории» Вебера. Получение этой работы освобождало Чернышевского на несколько лет от поисков литературного заработка. Уже одно это было для него тогда большим облегчением.

Прежние переводы Чернышевского («Сравнительное языкознание» Шрадера, «Энергия в природе» Карлентера) шли без подписи, перевод «Всеобщей истории» он стал подписывать псевдонимом «Андреев».

Поразительная работоспособность Чернышевского при осуществлении этого перевода проявилась с прежней силой, несмотря на то, что здоровье его было подорвано и расшатано многолетней ссылкой.

Для того чтобы работа шла успешнее и быстрее, Чернышевский привлек в качестве секретаря и, как он шутя говорил, «пишущей машины» молодого человека, жителя Астрахани — К. М. Федорова.

Теперь ежедневно Николай Гаврилович вставал в семь часов утра и уже за чаем просматривал корректуры или подлинник, а затем пять часов без перерыва диктовал перевод так свободно, будто читал русскую книгу. В час обедали. После обеда Николай Гаврилович просматривал газеты и журналы, а с трех часов снова начиналась работа над переводом, затягивавшаяся нередко далеко за полночь...

К труду этому Чернышевский приступил с определенным намерением, о котором впоследствии писал Солдатенкову:

«Когда я думал просить Вас о принятии на Ваш счет расходов по изданию Вебера... я имел план издания совершенно не тот, какой пришлось мне исполнить. Дело было вот в чем:

Я не имею права выставлять на моих книгах мою фамилию. Имя Вебера должно было служить только прикрытием для трактата о всеобщей истории, истинным автором которого был бы я. Зная размер своих ученых сил, я рассчитывал, что мой трактат будет переведен на немецкий, французский и английский язы-

ки и займет почетное место в каждой из литератур передовых наций...

Вместо того — вышло что?

Я перевожу книгу, положительно не нравящуюся мне; я теряю время на переводческую работу, неприличную для человека моей учености и моих — скажу без ложной скромности — моих умственных сил...»

Как и прежде, он не пожелал удовольствоваться ролью безучастного исполнителя литературного заказа. У него возникла мысль не только «очищать» путем сокращений труд Вебера от «пустословия» и от реакционных рассуждений, но и прилагать к отдельному тому свои, специально для этого издания написанные, вступительные статьи. Так возникли его последние трактаты «О расах», «О классификации людей по языку», «О различии между народами по национальному характеру» и другие, объединенные общим названием «Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории».

Концепция Вебера была густо окрашена влиянием немецкого национализма, что не могло не вызвать протеста со стороны Чернышевского, оставшегося верным интернационализму и материалистическому взгляду на ход исторического процесса.

Еще в своих статьях, напечатанных в «Современнике», он едко высмеивал «ученые забавы» филологов, строивших «расчетливые генеалогии в собственную пользу», «усердно исследующих, на каком языке изъяснялись Адам и Ева и кто, следовательно, может почитаться древнейшим народом в мире».

И теперь, после многих лет каторги и ссылки, он с прежней последовательностью и силой убеждения снова резко осудил реакционные попытки «ученых» объяснять исторические факты особенностями умствен-

ной или нравственной организации рас, называя эти попытки «дикой фантазией, отвергаемой наукой».

Показывая корни снова начинавшего входить тогда в моду «расизма», Чернышевский писал, что большинство европейских ученых слепо подчинилось по вопросу о расах авторитету североамериканских ученых, явившихся прямыми пособниками и слугами американских плантаторов.

«До сих пор еще остается сильна старая привычка объяснять исторические разницы расовыми; но этот метод объяснений устарелый и дающий два очень дурные результата: во-первых, объяснение, основанное на нем, обыкновенно бывает само по себе ошибочно; во-вторых, успокаиваясь на этом фальшивом, мы забываем искать истинного объяснения. Во многих случаях истина была бы ясна сама собою, если бы не была закрыта от нас фантастическим объяснением факта посредством расовых отличий».

Умственные и нравственные качества того или иного народа формируются под преобладающим влиянием самой жизни. «Внимательно разбирая факты, мы должны прийти к мнению, что врожденные склонности... слабы и гибки, что главное дело не в них, а в том, какое оказывают влияние на народы, племя или сословия народов обстоятельства жизни».

Еще в пору работы в «Современнике» Чернышевский в статьях «Национальная бестактность» и «Народная бестолковость» (1861 г.) проводил мысль о том, что национальное движение не может не быть связано с классовым и что последнее определяет характер первого.

Эту же мысль, иллюстрируя ее другими примерами, высказывает Чернышевский и в «Очерке научных понятий по вопросам всеобщей истории».

«По образу жизни, — говорит он, — и по понятиям земледельческий класс всей Западной Европы представляется как будто одно целое; то же должно сказать о ремесленниках, о сословии богатых простолудинов, о знатном сословии. Португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо более похож на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации; португальский земледелец более похож в этих отношениях на шотландского или норвежского земледельца, чем на лиссабонского богатого негоцианта».

Верность Чернышевского революционно-демократическим традициям и философскому материализму проявилась и в других оригинальных его статьях последнего периода жизни. В 1885 году за подписью «Андреев» в «Русских ведомостях» был напечатан философский этюд «Характер человеческого знания». Критическое острие этого этюда было направлено против философов субъективно-идеалистического толка, утверждавших, что «все наши знания о внешних предметах — не в самом деле знания, а иллюзия», то есть, что явления действительности непознаваемы.

В этом этюде Чернышевский снова воскрешал материалистические традиции передовой русской философской мысли, которые он защищал еще двадцать пять лет назад, создавая «Антропологический принцип в философии».

Статья Чернышевского «Происхождение теории благодетельности борьбы за жизнь», напечатанная в журнале «Русская мысль» (1888 г.), была направлена против попыток «обосновать» при помощи мальтузианства социальное неравенство, классовый гнет и нищету в обществе. Подобно Марксу и Энгельсу, высоко ценя великие заслуги Дарвина в науке, Чернышевский вместе с тем вскрывал слабые стороны учения Дарвина,

заклучавшиеся в его приверженности реакционной теории Мальтуса.

Боевым духом воинствующего материализма проникнуто и предисловие его к третьему изданию «Эстетических отношений», которое, однако, было запрещено в 1888 году цензурой. Именно в связи с этим предисловием, где Чернышевский выступает с критикой Канта и тех естествоиспытателей, которые в своих философских выводах идут вслед за Кантом, В. И. Ленин писал: «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников»¹.

Кроме философских работ, в этот же период Чернышевским были подготовлены обширные материалы для биографии Н. А. Добролюбова. Часть их была напечатана при жизни Чернышевского в первых номерах «Русской мысли» за 1889 год, а целиком первый том его труда был напечатан уже посмертно, в 1890 году.

С необычайною тщательностью были собраны и прокомментированы Чернышевским документы, освещающие жизненный и творческий путь великого критика, его любимого друга и соратника.

Желая сохранить для будущих читателей картины литературной жизни шестидесятых годов, Чернышевский написал в Астрахани ряд мемуарных произведений, посвященных Некрасову, Добролюбову, Тургеневу и др.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 346.

